

1. Война несмотря ни на что

Разумеется, видимость устранения символической Войны касалась только совокупности наций, составляющих «правовой», «развитой полюс», полюс «порядка» планеты. Страны третьего мира непрерывно опустошались в результате вооруженных столкновений: однако все выглядело так, как будто эти конфликты то ли не попадали под строгую категорию войны, то ли локальный характер препятствовал им обрести символическую значимость. Действительно, судя по всему, начиная с 1914 года понятие «Война» в той или иной мере подразумевает достижения «мирового» размаха. Я еще вернусь к тому, что означает данное прилагательное. Отметим, прежде всего, что этот «мировой характер» определяется не столько размахом зон конфликта (повторяю, в определенном смысле они обнаруживаются по всему миру), сколько мировой ролью - экономической, технической и символической — отдельных государств, чей суверенитет вовлечен в войну. Потому что война - это с необходимостью война правителей, или, скорее, не бывает войны без Господ Войны: и вот об этом-то я и собираюсь здесь поговорить.

Можно усомниться, насколько это касается вопроса о «войне и технике». Вскоре станет видно, что вместо того, чтобы останавливаться на военных приемах (в которых нет ничего особенного для размышления), я уделяю внимание суверену войны и суверену п войне и раскрываю ее (войну) как технэ, как искусство, исполнение или реализацию самого Суверенитета. Однако таковой представляет собой решительную, настоятельную, образцовую пунктуацию всей символики нашего западного мира.

Война государств и коалиций государств, «великая война» (то есть такая, которая по праву является лучшей, образцовой частью реализации подразумеваемого ею суверенитета государств-наций; наконец, война как таковая, как она определена начиная с истоков нашей истории (к этому я еще вернусь)), итак, эта война, чтобы ее проще было отличить от других, как мы полагали, была ограничена, если не приостановлена, образом «холодной» войны и ядерной угрозы.

И это именно она возвращается, она или, по меньшей мере, все ее признаки. Или же происходящее, как бы оно в точности ни называлось, следовало бы сопровождать, поддерживать, иллюстрировать и украшать признаками, означающими и знаками отличия войны. Это было бы неодолимо и не сводилось бы к простой небрежности словоупотребления.

Для того чтобы остановиться на наиболее узнаваемых образах с крайне формальной точки зрения, скажем, что двадцать пять лет назад такое возвращение было предвосхищено войнами на Мальвинских и Гренадских островах. (Решительным указанием на это

«возвращение» я обязан Роберу Фрессу и, как он пишет, указанием на «первобытное довольство», сопровождавшее войну на Мальвинах.) Прочие вооруженные действия официально затрагивали наш «мир» либо под видом военного вмешательства в конфликты тако го рода, как восстание, переворот или «гражданская война» (само ее название указывает, как и греческое *stasis* или римское *seditio*, что она не является войной между правителями, «воинственной войной»), либо под видом военного вмешательства в столкновения между удаленными от нас суверенитетами, зачастую довольно сомнительными. (Следовало бы подробно показать использование, притязания, манипуляции, противоречия суверенитета в постколониальном мире, а сегодня - и в постсоветском мире. И добавить к этому подробности нашей связи с этим самым суверенитетом, само понятие которого принадлежит нам).

Но в настоящее время имеет место определенная война, «мировая» война, в том новом смысле, что в нее вовлечены многие из тех государств, чьи названия мы расшифровываем с трудом и подчас противоположным образом. Даже если конфликт и не разворачивается между Севером и Югом, их присутствие устанавливает мировой характер, если можно так сказать, мировой войны. Значит, идет война - в течение трех месяцев это слово у всех на устах. Но все же, что имеется в виду этим «война» и чем она является сегодня? Вот этот вопрос и следует себе задать.

Самое удивительное заключается не в том, что имеет место (если имеет место) эта война. В любом случае, вопрос не в том, имело ли место данное сражение или данная битва, каковы бы ни были их происхождение или формы. Удивительно то, что сама идея войны обрела среди нас право гражданства (лучше я и не сумел бы сказать). Другими словами, весьма примечательно, что идея легитимного государственного/национального насилия, столь долгое время вызывавшая подозрение и даже отмеченная незаконностью, по меньшей мере тенденциозной, сумела все-таки вернуть себе, или почти вернуть, полную законность. То есть абсолютную законность суверенитета.

И говорили, и писали, что в политико-юридическом плане неправильно и незаконно использовать в данном случае слово «война». К этому я еще вернусь. Однако это мнение оставалось довольно редким, заточенным в юридическом пуризме и нравственном прекрасодушии, общее же рассуждение, напротив, перебралось на семантику, логику и символику войны.

Видимо, семантика, логика и символика войны никогда так и не были уничтожены до конца. Но опять война, казалось, держалась в тени, в которую ее погрузили две предыдущие «мировые» войны. В отличие от предшествующих столетий, когда было привычным употреблять вплоть до Первой мировой войны выражение «Державы» для обозначения государств, дух времени не ставит уже право войны в один ряд с прерогативами государства.

Зато предпочтение, оказываемое идее «правового государства», привлекло внимание к тому, что в суверенитете полагается свободным от взрыва насилия. Более того, оно привлекло внимание к той точке, где насилие, которое руководило бы установлением власти, должно быть стерто, подавлено или обуздано. Война, казалось, безмятежно

отдыхала от феодализма или национализма, полагавшихся умершими или устаревшими. Блеск суверенитета также потускнел. К тому же было покончено с «идеологиями» «упадка государства»: государство, похоже, вступило в эпоху само-контпроля, занимая более слабую позицию по сравнению с мировыми технико-экономическими комплексами и взамен выступая в не слишком самостоятельной роли регулятивного, юридического и социального управления.

Оказывается, национализм (а подчас и феодализм) вновь просачивается отовсюду. Его фигуры, героические или смехотворные, патетические или высокомерные, достойные или сомнительные, всегда недоверчивы, по призванию или по предназначению. Конечно, мировое признание демократической ценности, или нормы, стремится урегулировать эти утверждения идентичности (и) суверенитета. Государственные/национальные фигуры не вычерчиваются насильным, одновременно мрачным и славным жестом, они спонтанно моделируются в самом сердце общей и совершенно доступной легитимности.

Хорошо известно, однако, и данная война оживляет спор по этому вопросу, что не существует (все еще) наднационального или донационального права. Нет готовой «демократии» (имеется в виду, нет фундамента права) над нациями или над народами. Имеется как раз то право, которое считают обрамляющим государства-нации, и оно едва ли основано на универсальности и уж точно лишено самостоятельности. Это так называемое «международное» право, чье «между» и представляет проблему, поскольку воспринимается только как пространство, лишенное права, не заполненное обобществлением какого-либо рода (без чего оно не является правом), но самым настоящим образом структурированное и технико-экономическими сетями, и надзором суверенных государств.

В этом контексте война только что заставила распознать себя. Называется ли она «войной» или «поддержанием порядка», «имела ли она место» именно как «война» - это не столь важно. Было решено, даже «потребовалось» (так говорили), чтобы была война. Отчасти мы могли бы иметь право на аллегорические образы Марса или Белонны, с необходимостью приглушенные в силу красивого, а значит, высокомерного требования «справедливости» и «нравственности».

По крайней мере (я добавляю, перечитывая эти строки после прекращения огня), нам объявили о победных парадах после того, как весь мир принял с восторгом горделивую формулу "*Мать всех сражений*" которая была бы суверенным словом побежденного. Для того чтобы разворачивалось все то, что суверенное слово назвало «логикой войны», следовало, чтобы стал заметным, пусть даже мельком, украдкой, возможный возврат образа войны. Заинтересованные государства сумели уловить эту вероятность, расцветшую пышным цветом в «общественных мнениях»: война стала вновь требуемой или желанной. Пацифистские реплики стали рассматриваться как рутинные либо случайные и, наконец, перестали вообще приниматься во внимание, поскольку еще сравнительно недавно пацифизм не сумел распознать опасность фашизма и, в итоге, с начала века представлял собой в точности бессильную оборотную сторону самой «глобализации» войны.

Но тем самым, насколько сегодня пацифизм сводится к некоему лишенному субстанции привычному образу действия, чья мораль не выражается ни в праве, ни, в особенности, в

политике (его единственным респектабельным измерением является сострадание: однако трагедия войны - не единственная в этом мире, хотя только она, похоже, наделена величием), настолько в совершенно ином регистре повторное утверждение войны происходит из вновь обретенного габитуса, только использованного в новом контексте. Габитус: способ бытия, диспозиция нравов, *ethos*.

Чем он является? Из чего состоит? Мой ответ поначалу будет простым: это сама этика войны, это та диспозиция нравов, цивилизации, мышления, которая положительно отзываясь о войне не только как о политическом средстве, но как цели, субстанциальной проявлению суверенитета, являющегося единственным, кто имеет на это право.

Этот ответ предполагает, что применение государством силы в защиту своих собственных прав было бы более уместно назвать «поддержанием порядка» («*police*»), тогда как «войной» - использование суверенного права принимать решение напасть на другое суверенное государство. Эта конвенция как раз является тем, что только что было реактивировано, пожелали это признать или нет (в рамках своей конституции, например, Франция не находится в состоянии войны - но кто в нем находится, в соответствии с какой конституцией?).

По отношению к суверенному праву нет ничего, что стояло бы выше его (наивысшее): то, что не имеет ничего выше себя. Право на войну есть наиболее суверенное из всех прав, поскольку позволяет суверену решать, что другой суверен является его врагом, и заняться его подавлением, то есть уничтожением, то есть отнять у него его суверенитет (здесь жизнь становится предметом купли-продажи). Это право суверена на конфронтацию *ad mortem* со своим *alter ego*: в этой прерогативе обнаруживается не только эффект суверенности, но ее высшее проявление и нечто, что отчасти даже составляет саму ее суть - как того желает вся наша традиция.

В суверенном контексте войны ничто другое не является значимым, разве что несколько договоренностей, предназначенных для удержания ее в некотором нравственном порядке (а некогда - религиозном). Но этот порядок не является чем-то высшим по отношению к войне: он есть тот самый порядок, суверенной крайностью, острием и исключительным моментом которого является война. (Вот почему Руссо в противовес всякой традиции не желал видеть в войне особый акт суверенитета, а «только применение закона»; суверенитет у Руссо находится в тесном споре с исключением, с разрывом, которые не могут не преследовать его).

Тем самым война сама способна создать новое право, новое распределение суверенитетов. И именно таково происхождение большинства наших суверенитетов - или легитимностей - государственных или национальных. Это также тот момент, посредством которого революционная война смогла унаследовать, вследствие некоторых перемещений, нечто существенное из понятия государственной войны. (Начиная с войн эпохи Великой Французской революции, представлявших собой помесь войн государственных и войн, которые велись во имя всеобщего принципа, против врагов человеческого рода. Начиная с этого момента вопрос заключался в том, чтобы понять, можно ли представить некий

всеобщий суверенитет).

Право на войну исключается из права как раз о том же самом пункте, в каком к нему относится как исток и как цель: в точке основания; так что мы не можем ни думать об основании без суверенитета, ни мыслить суверенитет сам по себе кроме как в его исключительности и чрезмерности. Право на войну исключается из права в той точке, где происходит суверенная вспышка молнии. Право не владеет этой вспышкой, но нуждается в ее свете, в ее фундирующем событии. (Вот почему Война есть также Событие *par excellence*: не только событие «хроникальной истории», которая перебирает даты войн, побед и поражений, но Событие, которое сплывает и заново открывает ход истории, событие-суверен. Наши короли, наши маршалы и наши философы никогда иначе и не думали).

В любом случае, такой способ установления правил становится неприемлемым в мире, представляющем само право как свой собственный «исток» или как свое собственное «основание», будь то под видом «естественного права» человека или же необратимой седиментации навыков некоего позитивного права, мало помалу ставшего всеобщим (в то время как солдаты второго года [69] могли еще представлять это основание как нечто такое, что еще следует завоевать или отвоевать). Из чего проистекает то беспокойство, которое охватывает нас, когда мы думаем о войне, точнее, о «справедливой войне», выражение, которое могло бы одновременно подчинить войну праву и право - войне. (Наконец, для всей традиции (к этому я еще вернусь) это выражение является избыточным, как, впрочем, и выражение «грязная война»...).

Наше беспокойство свидетельствует о том, что наш мир — мир «глобализации» - сместил понятие войны, а заодно и все политико-юридические понятия суверенитета. «Возвращение» войны имеет место именно в центре этих перемещений - вот почему некоторые попытались сказать, что оно вообще не происходит. Но наше беспокойство свидетельствует также, не скажу, что о сожалении или ностальгии, но о трудности расставания с суверенной инстанцией, пусть и в ее наиболее ужасающей вспышке (поскольку она также и наиболее яркая). Именно это сопротивление суверенитету в нас самих я и хочу исследовать, прежде чем попытаться понять, к чему, к какому «другому» суверенитету мы смогли бы прийти. Посмотрим, как это проходит через «технику».

Я предпринимаю некоторые меры предосторожности для того, чтобы эта, весьма простая, программа не свелась к упрощению, то есть огрубленности мышления. Итак:

1. В мои намерения не входит свести историю войны в Заливе к просто-напросто суверенному военному решению, будь оно принято кем-то одним или же многими. В некотором общем контексте, представляющем собой смесь из местной (*endémique*) войны, многочисленных бунтов, спорных суверенитетов и многочисленных и конфликтных случаев поддержания порядка (государственных, религиозных, экономических, международных прав и интересов, прав и интересов меньшинств), происходит смешанный процесс войны и поддержания порядка, в котором одно не перестает перетекать в другое. Я не претендую на то, чтобы распутать этот клубок, полностью отделив одну часть от другой; видимо, это вообще невозможно. Опять же, все смещается, и пара война/поддержание порядка уже не позволяет просто управлять собой, если это вообще когда-либо представлялось возможным.

Но в этом тандеме меня интересует то, что, похоже, как раз упорно, отчаянно удерживается в нем на пределе самого права - требование войны, которое несет в себе и выставляет напоказ суверенное исключение.

Едва ли можно обнаружить некую концепцию, которая способна нам предложить достаточное осмысление этой логики исключения - «суверенного» как «неправомерного». Тот стиль неокантианского гуманизма, который господствует сегодня, всего лишь обновляет для нас бесконечное обещание сделать политику нравственной, предлагая праву оружие некоей политики, которую еще следует сделать нравственной. Революционный стиль прогорел вместе с претензией на то, чтобы обозначить субъекта другого права и возникновение другой истории. Что касается «децизионистского» стиля [70], то он переместился в сердце «тоталитарного» стиля. Нигде не обнаруживается выхода, идет ли речь о том, чтобы мыслить суверенитет *bis et tunc* или чтобы мыслить вне его. История доктрин и проблем международного права, суверенитета и войны, начиная с первого конфликта мирового масштаба, в значительной степени свидетельствует об этом общем затруднении.

В настоящий момент мы можем иметь дело только с прямыми последствиями этого итога. Таким образом, я не истолковываю войну в Заливе при помощи какой-либо из этих схем. Я только устанавливаю, что между всегда слабой и сомнительной схемой «войны (поддержания порядка) права» и реактивированной (или подогретой?) схемой «суверенной войны» простирается пустое пространство. И это пространство не является пространством «войны народов»: народы в настоящий момент — это экспонаты музеев Революции или же краеведческих музеев. Это пространство - просто пустыня. Оно не только продырявлено нефтяными скважинами и воронками снарядов - оно представляет собой пустыню нашего мышления - как размышлений о «Европе», так и размышлений о разорении, об усугубляющейся через законы и войны экономической и культурной несправедливости как в Заливе, так и в других регионах. Наконец, правда в том, что пустыня растет. Долгое время мне не нравилось то мрачное наслаждение, с которым некоторые повторяли это выражение. Но я признаю: пустыня растет, и стерильность господствующего гуманизма, пусть уже более и не воинственного, но высокомерного, как и положено слабому, позволяет наконец высветить его безответственность.\

Я не беру на себя труд изобрести здесь некое новое мышление: я хочу обозначить потребность в нем, его крайнюю насущность. Поскольку мы уже находимся в ином мышлении, оно предшествует нам, и война показывает, что нам только остается к нему присоединиться.

2. Хотя и ясно, что в этой войне мои личные предпочтения (о которых я пока не распространяюсь) не на стороне войны, я, тем не менее, осознаю, что большинство приверженцев войны выдают себя за сторонников некоего высшего права или права, внешнего по отношению к государственному суверенитету. К тому же, многие совершенно недвусмысленно засвидетельствовали об ответственности всех сторон конфликта. Я совершенно не собираюсь никого осуждать за намерения, я не призываю к тому, чтобы война была сокрыта под покровом закона. Некоторые это сделали, и это слишком ясно и не интересно. По-настоящему интересно другое: то, что смогли утвердить войну, и как это

смогли сделать - более или менее незаметно или же воинственно, сдержанно или усложненно.

Но в то же время дело не в том, чтобы не учитывать интересов и расчетов, которые составляют экономические цели войны как по оси восток-запад, так и по оси север-юг, под влиянием еще одного витка упрощенчества, которое нынче весьма в моде. Впрочем, отрицать их бесполезно, все и так знают, о чем речь, так что нет необходимости быть членом компартии, чтобы разделять, волей-неволей, некоторые истины, высказанные Марксом. Дело не в простом «экономическом детерминизме». Дело, скорее, вот в чем: каковы бы ни были тому причины, но в настоящий момент экономические перспективы, надежды и цели иссякают. То, что не регулируется экономикой, относится либо к робкой правовой защите (в которой речь более не идет о том, чтобы создать, обосновать новое право), либо к воображаемым компенсациям (религии, иногда искусству, а теперь также и политике). Возвращение образа Войны отвечает обостренной жажде легитимации и/или целесообразности там, где никто уже не может поверить, что экономика располагает своей собственной и универсальной легитимной целесообразностью. С этой точки зрения совершенно неважно, что именно составляет различие между либерализмом и государственным регулированием экономики. На самом деле, в тот момент, когда поверили в «смерть» Маркса, его политическая экономия (можно было бы также назвать ее экономической войной) блокировала весь наш горизонт. Она не является суверенной, она является господствующей, а это разные вещи. Вдруг политика совершает самоубийство в моралиправе без суверенитета, или даже, чтобы лучше служить господству, она стремится позолотить свой суверенный герб: вот как мы имеем Войну, амбивалентную хозяйку-рабыню экономики. Я вернусь к этому миру без цели. Его критика должна быть не менее радикальной, чем критика, осуществленная Марксом. Но, несомненно, радикальность не заключается теперь ни в установлении новой Цели, ни в реставрации Суверенитета в целом. Напротив, эта логика, похоже, является той логикой, в которой экономическая война непрестанно излучает суверенную Войну, и наоборот.

3. Верно, что, истолковывая факты и рассуждения под знаком возвращения регистра войны, состояния войны или постулата о войне, факты, которые казались позабытыми (если не вытесненными), я, похоже, пренебрег резервами и предосторожностями, которыми окружают войну, когда желают, чтобы она была «достаточно умеренной». Конечно же, рассуждений, которые являлись бы собственно или прямо милитаристскими, было мало (призыв «Все на войну», скорее, вытекает из пацифистской полемики; тем не менее, было несколько примечательных отзывов в частных высказываниях, и я, конечно, не единственный, кто слышал, как восторгаются тем, что «это заставит Запад вновь почувствовать силу в яйцах»).

Перечитывая этот текст теперь, после окончания сражений, я хочу добавить вот что: учитывая, насколько неравными были силы сторон, как же не думать о том, что дискурс в защиту войны был необходим, причем сама она была не так уж и желанна - желанен был ее результат? «Четвертая армия мира» не могла и не хотела сражаться. И «первая» сражалась в основном для того, чтобы под бомбами похоронить саму возможность сражения, перестав культивировать героизм, для ограничения собственных потерь. Это не воспрепятствовало ни смертям, ни разрушениям, ни, в особенности, колоссальной диспропорции количества тех

и других в одном и другом лагерях. Но эти цифры ничего собой не представляют в символическом измерении войны: война артикулируется только в терминах победы и поражения, утверждения суверенитета, завоеванного или отвоеванного. (Даже исходя из данного критерия, эта война, одновременно определенная и неопределенная, имела одновременно определенный и неопределенный исход. В настоящее время Ирак чеканит монеты, на которых выбито «Победа за нами», тогда как в США, Великобритании и во Франции готовят военные парады. Верно, что все это только фасад, а во всем остальном послевоенный период излучает гражданскую войну, по меньшей мере в Ираке и Кувейте, и вновь приводит в действие войну экономическую. Но кроме «фасада» в структурах политического и коллективности вообще ничего нет).

Совершенно верно, что я предполагаю проинтерпретировать некоторое количество деталей, например, одобрение войны национальными парламентами (дополнительная мера в действиях по поддержанию порядка, также, впрочем, как и в действительно исключительном положении и в случае экстренной необходимости военного вмешательства). Я предполагаю проинтерпретировать всё, вплоть до всех этих знаков, которые доставляются семантикой, стилями и акцентами большого количества рассуждений, посвященных срочной необходимости, опасности, жертвоприношению, национальному долгу, бравой мужественности, возвышенности великих полководцев, разгулу примитивных сил. (Мне довелось прочитать в одной крупной французской газете: «Ну как же бороться эффективно, если мы не преодолели в себе примитивные инстинкты?»; в конце концов, эта фраза, рассматриваемая как таковая в повседневном контексте нашей культуры, по всей видимости, безупречна, хотя бы она и свидетельствовала об этой «повседневности» в том состоянии, которое близко к вульгарному.) Сюда необходимо прибавить все те речи о святой миссии: и для одной, и для другой стороны Бог - на «их стороне», монотеистическое против монотеистического, так же как и призывы к «установлению» некоего нового порядка или нового правления.

Я не забочусь о том, чтобы собирать публичные и частные документы. Их количество весьма значительно. Не нужно никакого труда, чтобы распознать в них присутствие символики и фантаматики войны, которые в большей или меньшей степени дискретно перемешаны с резонами права и поддержания порядка. Последние, тем самым, не дисквалифицированы, а первые должны проявиться в подходящий момент.

Более того, нельзя забывать о той роли, которую, как с одной, так и с другой стороны, сыграли политическое желание и необходимость реванша (Вьетнам - американская неудача, Синай - арабский провал, пусть эти два примера и являются совершенно различными). В случае США, наиболее могущественного соперника на сегодняшний день, необходимо было отмыться не только от унижения, наносимого любым поражением, но также от войны, которая стала позорной.

Наконец, не будет забыт столь явственно ощутимый вкус к зрелищу эпической красоты и героической добродетели, который возник во время подготовки и первой фазы войны. В конце концов, эти образы не отличались от всех тех, из которых слеплены фильмы о войне. Я не собираюсь присоединяться к критике «общества спектакля», которая не упустила случая квалифицировать эту войну как «зрелищную» (это было отрицание, симметричное

тому, которым оперировал дискурс права). Потому что эти образы войны составляли часть войны, а может быть, уже сама война является фильмом, до того как какой-нибудь фильм ее не сымитирует. До ужаса и скорби, которыми все должно завершиться, не было бы войны без воинственного порыва воображения. Ее зрелище в смешении с механическим, порой тупым, подчинением заставляло солдата идти вперед. Психологи американской армии с удовольствием объясняли по телевизору, что мальчики идут вперед не оттого, что у них есть высшая цель, например отстаивание права или демократии, но только лишь потому, что не желают показать слабину перед своими сотоварищами. Даже движущая сила чести и славы сами по себе уже происходят из регистра «спектакля» и их невозможно разрушить кратким развенчанием современной эпохи всеобщей и коммерциализм рованной симуляции. (Наконец, как всегда случается с такого рода рассуждениями, читая некоторые критические статьи о «войне-спектакле», вполне обоснованно было бы спросить себя, что за ностальгия здесь проявилась - ностальгия по настоящей, хорошей, грандиозной войне прежних времен.) То, что задействовано в «зрелищном» войны, отсылает гораздо дальше, к крайним точкам культуры в целом (часть которой составляет ислам), а возможно, и еще дальше.

Я не претендую на то, чтобы утверждать, что возвращается эпическое - ни гомеровское, ни наполеоновское, ни даже то, что может ассоциироваться, например, с битвами Роммеля, Монтомгери, Леклерка или Гудериана. (Тем не менее, стало возможным говорить о «легендарном прошлом» подразделений и судов, которые принесли в Залив ауру ветеранов последней мировой войны). Для того чтобы вернулось эпическое, нужно многое, но этого «многого» недостаточно, чтобы ничего не осталось от оправдания или чествования войны. То, что остается, - это переливающиеся грани суверенитета. То, что чествуется в войне, - это блистательный, раскаленный и чарующий суверенитет (на мгновение, на то время, пока длится вспышка). Но не здесь ли находится существенная часть того, что мы полагали вообще лишенным могущества: вспышка, образы Солнца? Поскольку наш мир не представляется лишенным могущества, разума и даже милосердия. Но, конечно, утрата Суверенитета структурирует существенную часть его саморепрезентации, а значит, и его желания.

Версия #1

Зверобой создал 14 февраля 2026 18:36:35

Зверобой обновил 14 февраля 2026 18:37:49